

Музей поэта

Московское посвящение

Александр Михайлович Ревич —
переводчик и старый пиит,
выставляя на стол бутылевич,
говорит, говорит, говорит.

И, входя потихоньку под градус,
переводчик и старый пиит,
с ним Анисим Максимыч Кронгауз
говорит, говорит, говорит.

Допоздна не пустеют стаканы,
день рабочий летит кувырком, —
это лечатся старые раны
говорком, говорком, говорком.

И дымит фронтовая траншея,
и ракета, как в песне, горит, —
пьют без умолку, пьют, не хмеляя,
переводчик и старый пиит.

Их в застолье поди, объегорь-ка, —
до краев наполняют стакан!
И становится стыдно и горько
оттого, что я молод и пьян...

О московское гостеприимство!
Я в долгу у него, я готов
помянуть его ныне и присно,
а случись — и вовеки веков.

И когда я разлукой ведомый
под медлительный говор колес

возвращаюсь в мой город, знакомый —
ведь иначе не скажешь! — до слез,

все мне слышится, словно в тумане,
этот мирный московский содом,
исцеляющий рану на ране
говорком, говорком, говорком...

1980

* * *

Я в ночь распахиваю окна,
гляжу, отбросив карандаш:
там электрическая охра
легла на черную гуашь,
там жирных сумерек громада,
как холст неконченный, полна
намеком, ожиданьем сада
и светом, бьющим из окна.

Спугнув минутную печаль, я
в сад законный, сад живой
сбегаю, словно в зазеркалье, —
в захолстье, пахнущее мглой.
Как пересказ, все быстро, вкратце:
кусты, тропинки, огоньки,
и листья на руки садятся,
и бьются в губы мотыльки.

Вот пруд, потом кусты сухие,
и сразу — море и прибой,
и эти водных две стихии
одной повязаны судьбой.
И горечь всполошенной ряски,
и нашатырь волны морской —
все запах первородной краски
в открытой ветру мастерской!

1982

* * *

Уже скребут лопаты по снегу,
готовя место для подъезда,
и я навстречу утру позднему
спешу из теплого подъезда.

Карнизы льдинами окованы,
пороша каблуками сбита,
уже машины припаркованы
под окнами "Трехглавзейсбыта".

И вот, гремя дверьми обманными,
спешат на лестничные марши,
дыша духами и туманами,
отчаянные секретарши.

Я вижу, как они за стеклами
по этажам своим расходятся,
их блузки строгие застегнуты,
но сзади вырезы расходятся.

А я блуждаю в одиночестве
по улицам, в тумане тонущим,
и мне туда, за стекла, хочется
хотя бы маленьким змеенышем.

Но муза в полумраке тающем
уже свои диктует песни...
Я, как назло, рожден летающим,
и ползать не могу — хоть тресни!

1983

* * *

Ржавая сыпь на замшелом листе,
изморозь рвет паутинные нити.
Где же вы, братья мои во гнезде?
Что же вы песни свои не свистите?

Память пригреет — да горько в плену:
мертвой листвой осыпается слово.
Выйду — и зиму, как схиму, приму
за незабвенные муки птенцовы.

1985

* * *

И совсем не для них мастерили кормушку,
но красивые птицы ее обошли стороною — поди, вороти!
И слетелись, давя и пиная друг дружку,
мелкота, шантрапа, воробьи.

И вот уже весь деревянный квадратик заполнен их тельцами ярими,
и вот не осталось от крошек уже ни следа...
А красивые птицы — одиночками или парами —
вымирают в долгие холода.

Что-то и впрямь со средой происходит, и в зимних краях огородных,
где ни крупинки съедобной на ветке нагой,
и этих, ничтожных, жаль — и тех, благородных,
и те не даются — и эти всегда под рукой.

И глядя на крохи тепла, что слетают с ладоней отчих,
так и не знаешь в конечном счете, что выбирать, —
то ли всем скопом бросаться на них, урывая заветный кусочек,
то ль в одиночестве вымирать?

1986

* * *

"Мой дядя самых честных правил —
смотрел в окно и бритву правил!" —
воскликнул некий одессит.
А стих по свету колесит.

Его пример — другим наука.
Всё так. Однако вот в чем штука:
в словах, в сознании, в душе —
повсюду царствует клише.

Чтоб на слогах не запинаться,
стихи должны запоминаться.
Но вот запомнятся они —
и сразу станут всем сродни.

Представь, что ты всегда уместный,
как-тень-зевесова-орла,
мороз-и-солнце-день-чудесный,
февраль-достать-чернил-и-пла...

Уж небо осенью дышало,
но делу это не мешало,
поскольку всех-то дел твоих —
вот этот лист и этот стих.

1987

* * *

Времена не слишком им потрафили —
то пробел откроешь, то провал.
"У меня тоска по биографии", —
Эйхенбаум Шкловскому писал.

Годы не сломили их, но выжали,
до упора закрутив тиски.
Оттого-то, может быть, и выжили,
что хватило силы для тоски.

Так порою дернешься: рискни-ка мы —
все пойдет на слом и кувырком...
Стол. Окно. Бумага. Полка с книгами.
Дотоскуем, что не доживем.

1988

* * *

Танечка из Витебска песенки поет —
нежно и язвительно сутки напролет.
Вид лихой у Танечки, голосок и стать —
встанет рано-ранечко, станет распевать.

Солнечно и перисто. Рай, а не житье.
Сам добрейший Берестов слушает ее —
сколько же чертовского в пенье аонид! —
а потом Чуковского ей изобразит.

И профессор Сухарев, бардов брат и друг,
циников и ухарей не пропустит в круг:
ручка по бумажечке катит, как на льду, —
все твои промашечки схватит на лету.

Недомолвки выкинем, кучкой постоим,
вторя Вероникиным рифмам составным.
Тучки регулярные, сходки допоздна,
штучки — элитарные, а судьба — одна.

В чем же дело, собственно? И откуда свет?
Горько пахнет соснами из забытых лет.
Вроде, пой и радуйся, слушай и молчи.
Огонечек бардовский светит из ночи.

Как в беспечной юности вся-то благодать
в той сердечной смутности, что не передать,
в призрачном спасении брать высокий тон
и в перечислении дорогих имен.

1989

Из дневника переводчика

Какая дурная история
случилась с моим ремеслом:
прощай, дорогая Эстония, —
полжизни отправим на слом!
И как там душа не лелеяла
твой говор, и гонор, и статью,
но Арви, и Рейна, и Леэло
я так и не смог досказать.

Не думал о призрачной славе я,
копая прозрачный родник:
прощай, дорогая Молдавия, —
к чему тебе русский язык?
Цветов бесшабашная оргия,
и сладость, и зной, и ленца,
но Петру, Иона, Георге я
не смог досказать до конца.

Не будем большими провидцами,
и что там в душе не таи,
но мы заглушили границами
не тяжбы, а дружбы свои,
влечения сердца и разума
отправив под спуд и в запас.
И все, что у нас не досказано,
никто не доскажет за нас.

1992

Зимняя песенка

Лишь ты, воробей, не подвластен печали,
покуда собратья твои одичали:
тот дружбу с котами заводит,
тот песню военну заводит.

А ты все трепещешь, а ты все ершишься,
над каждой крошкой своей веселишься, —
хотя и ничтожная малость,
а все-таки честно досталась.

Ты скромное детище нашей системы,
и чувствую я, что с тобою в родстве мы:
нашли подходящие ниши —
не выше других и не ниже.

Ты не был халдеем, а я — лиходеем,
и все же, надеюсь, что мы уцелеем:
за горстку удачи с везеньем
заплатим терпеньем и пеньем.

1993

* * *

Два месяца висел над нами зной,
дыханьем небо бледное прочистив,
и редкий дождь, как ножик разрезной,
шуршал вдоль желтых выгоревших листьев.

С залива наползал под вечер смрад,
отпускников сдувая из-под тентов,
и рос на горизонте Пустоград
огромной кучей белых экскрементов.

Над просекой столбом стояла сушь,
зудел комар, упрямый, как мятежник.
Метафорой древесных мертвых душ
похрустывал в черничнике валежник.

А воздух плыл, а жизнь текла, спеша,
так бегло, наугад и так некстати,
что превращалась в перечень душа,
внезапно обрываясь на цитате.

И дождь шуршал, как ножик разрезной,
небрежно обрезая междометья,
и желтый лист опять дышал весной,
очнувшейся на миг в чужом столетье.

1994

Сорок лет спустя

Какие
Хорошие
Выросли дети!
У них удивительно ясные лица!
Леонид Мартынов, 1957

И нам любви и света доставалось
под сенью возрожденческих страниц.
Как много негодяев, оказалось,
произросло из этих ясных лиц!

Какое же несчастье приключится,
когда взойдут из нынешних затей
вот эти вырожденческие лица
тупых,
пропитых,
брошенных детей?

1997

Попытка эпитафии

Мне поздно просыпаться знаменитым.
Речь выбрана, как почва, до корней.
Специалисты по могильным плитам
пренебрегут неведомой моей.

К желаемой любви не приневолишь,
лежи себе хоть навзничь, хоть ничком.
И прочерк между датами — всего лишь
соринка между веком и зрачком.

1999

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК

Прожив эпоху Гимностроля,
я заглянул, как прежде, в ночь.
Такую жизнь назвать сестрою
опять становится невмочь.

Летит невольничья галера
за оперенный небосвод,
где Пушкин выпьет за Глиэра
и Михалковым зажует.

2001

* * *

В тех дружеских домах, в тех родственных, куда ты
заглядывать привык,
все роли сыграны, все шутки бородаты, —
все кончено, старик!

И в той большой любви, давно ушедшей в нежность
среди картин и книг,
ты видишь лишь одну слепую неизбежность —
все кончено, старик!

И в бане, где братва гогочет в рыжей пене,
под этот рев и рык
с печалью ты глядишь на наше по колени —
все кончено, старик!

И дома, с рюмочкой, под шамканье газеты,
вообразишь на миг
себя творцом судеб, хозяином планеты...
Все кончено, старик!

А там, на улице, — там все переиначит
один случайный крик:

"Дед, сколько времени?.." И это вот что значит:
все начато, старик!

Он начат, этот путь, он весь еще в начале
за книгой, за вином,
в предсердье колющем, в пугающей печали
перед последним сном.

2004

* * *

Репетиция старости ходит по дому.
Поседела. Вдыхает. И лаает подолгу
на приснившихся недругов. Тихо скулит
на полу, не рискуя запрыгнуть на кресло.
Острых запахов нет, а с привычными — пресно.
Разве новое что-то томит и свербит
под хвостом, где невытая шерстка сваялась,
но не выкусишь — целых зубов не осталось.
Все знакомо. Выходишь на двор без опаски.
И балдеешь от первой попавшейся ласки.

2005

Воспоминание о школе. Некрасов

Однажды я вышел на площадь.
И что же? Был сильный мороз.
Гляжу, появляется лошадь,
везущая хворосту воз.
Такое ну разве приснится:
вся площадь — как белый каток,
лошадка была в рукавицах,
но, впрочем, сама с ноготок.
И, словно средь шумного бала,
хвостом зацепивши вожжу,
"Отец! — мне лошадка сказала. —
Бог рубит, а я отвожу..."
Гляжу, коченея от стужи,
как льдинку, ломая слезу:

не хворост, а детские души
вповалку лежат на возу.
Печальные жертвы поэта —
ни стона из детской груди...
А снег все скрипел до рассвета,
и музе сказал я: "Уйди!.."

2006

* * *

Снова пахнет разором и кровью,
и у нынешних бед на краю,
как высокое Средневековье,
я культурой себя сознаю.

Это значит: готовься к недоле,
репетируй, как варваров ждать.
Да они уже, собственно, в доме:
стулья сдвинуты, смята кровать...

2006

Музей поэта

Я прожил неделю в музее поэта,
и я никогда не забуду про это.
Я спал на кровати, в которой поэт
проспал в общей сложности несколько лет.

Писал, за столом его письменным сидя,
оставшимся в прежнем, прижизненном виде,
на стульях поэта сидел и не раз,
пardon, приседал на его унитаза.

В музее меня окружали с рассвета
портреты поэта, портреты поэта,
и этим они намекали на то,
что образ его не забудет никто.

Я в книгах поэта усердно копался,
там след его ногтя бессмертно остался —
он часто подчеркивал строки в стихах
и рядом писал иронически: "Ах!.."

А может быть, "Ах!.." восклицал он серьезно?
Я вновь перечитывал — за полночь, поздно,
и утром вставал в несусветную рань —
нет, все-таки "Ах!.." это значило "Дрянь!".

В музей приходили какие-то тети.
Одна мне сказала: "Когда вы умрете,
вам тоже, наверно, откроют музей
и станут водить к вам ученых детей".

Она от меня ожидала ответа,
но вышел я в сад при музее поэта,
и в этом саду, необычно пустом,
я сел на траву под высоким кустом.

Гудели шмели в полумраке зеленом,
и ясьень листвою соперничал с кленом,
приезжий народец толпился в дверях, —
и я с наслаждением выдохнул: "Ах!.."

2006

* * *

Ночь была беззвучна и слепа,
а с утра — нежданная отрада:
пальый пятипальый Петипа
закружил по сцене листопада.

Старый театрал и пилигрим,
я от этих танцев ошалелю
и с охапкой пышных балерин
забрелю в укромную аллею.

А когда погаснет в зале свет,
тихо сяду с краешку, в партере,
досмотреть невиданный балет
на такой неслыханной премьере.

2007

* * *

Причуды иноземного стиха:
как пробираться тропами лесными,
где ива, и береза, и ольха —
мужского рода? Что мне делать с ними?

Я мог бы это все перевести
совсем в иную плоскость, но природа
подсказывает мне, что нет пути
печальней, чем искусство перевода.

И вправду, как березу мне обнять
и как же иву мне назвать плакучей,
когда у них особенная стать,
в чужом — иная, как себя ни мучай?

Так оставайся лесом, старый лес,
грешно переводить тебя на рощу,
и всей листвою, покуда не исчез,
дыши на слух и облетай на ощупь!

2008

* * *

Пока Монтеки с Капулетти
творят неправые дела,
на бреющем щеку полете
влетела в комнату пчела.

Что ей до этих стародавних
страстей, царящих на земле?
Увы, не сыщешь и следа в них
нектара, нужного пчеле.

Отгоревала, отбранила
пустые эти образцы
и на страницу обронила
не ставший медом
прах пыльцы.

2008

Диалог

— Прощай, свободная стихия!
— Прощай, немая Россия!

Надолго хватит этих строк,
чтобы продолжить диалог.

2008

